

Иван Плешканев
Анатомия подделки



Иван Плешканев
Анатомия подделки

<https://litres.ru/73871889>

ISBN 9785006979796

Аннотация

Он реставрирует чужие лица, чтобы не смотреть в своё. Пока однажды портрет XVII века не отвечает ему взглядом. Роман об искусстве, масках и цене, которую платишь за право быть собой.

Содержание

Часть 1	5
I	5
II	16
III	33
Конец ознакомительного фрагмента.	37

Анатомия подделки

Иван Плешканев

© Иван Плешканев, 2026

ISBN 978-5-0069-7979-6

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Часть 1

I

Кракелюр

Ночью мастерская пахнет иначе.

Днём здесь хозяйничали острые, химические запахи: ацетон, скипидар, свежий рыбий клей — запахи работы, борьбы, вторжения в чужую плоть. Пахло жизнью, которая насильственно возвращается в вещи, давно эту жизнь утратившие.

Ночью запахи остывали, оседали на полках, впитывались в деревянные подрамники, сваленные в углу. Оставалось только одно — запах времени. Тяжелая, сладковатая пыль веков. Пыль, которую он счищал с холстов каждый день, въелась в поры стен, в переплётыв книг, в его собственные лёгкие.

Он любил это время.

В третьем часу ночи мастерская становилась не местом работы, а его настоящим домом. Единственным местом, где он не играл. Где можно было сидеть неподвижно в старом кожаном кресле, которое помнило ещё его учителя, и просто смотреть.

Смотреть было его профессией. Его жизнью. Его проклятием.

Он смотрел на картину, стоящую на мольберте. Портрет неизвестного в зелёном кафтане. Семнадцатый век, голландская школа, предположительно круг Рембрандта. Работа предстояла долгая, кропотливая, требующая абсолютной тишины в голове. Именно за это он и брался всегда за такие заказы. Они лечили голову. Они лечили голову.

Он поднялся, подошёл к столу, включил лампу с зелёным абажуром. Свет мягко лёг на разложенные инструменты. Скальпели. Кисти. Ватные палочки. Химические реактивы в тёмных склянках. Увеличительное стекло на подвижной ноге. Всё как в операционной.

Он взял скальпель. Самый тонкий, почти невесомый. Провёл пальцем по лезвию — привычный жест, от которого по коже шёл холодок, но он давно перестал его замечать.

На стене, слева от стола, висели рентгеновские снимки. Целая галерея призраков. Под верхним слоем красок всегда пряталось что-то другое. На одном снимке под благочестивой мадонной проступала грубая крестьянка. На другом — под парадным портретом вельможи угадывался мальчишка с испуганными глазами. Художники ошибались. Или не ошибались, а просто не смели сказать правду. Записывали её, прятали под слоем приличной краски.

Он понимал их. Лучше, чем кто-либо.

Сегодняшний пациент — портрет в зелёном кафтане —

пока молчал. На рентгене проступало что-то странное. Под спокойным, чуть надменным лицом, которое смотрело на зрителя уже триста лет, угадывался другой рот. Кривой. Искажённый. Словно человек на портрете не позировал, а кричал. Но крик этот замазали, сделали приличным.

— Что ты видел? — тихо спросил он у портрета. — Чего испугался?

Портрет молчал. Молчат всегда.

Он отложил скальпель и снова сел в кресло. Провёл рукой по лицу. Кожа была сухой, горячей. Ему часто казалось, что он чувствует её как отдельный предмет, как маску, которую можно снять и положить на стол. Интересно, если бы он её снял, что бы там оказалось? Такой же кривой, искажённый рот, как у неизвестного в зелёном кафтане? Или вообще ничего?

Он усмехнулся. Глупости. Лицо не снимают. Лицо носят до самой смерти. Иногда дольше.

В груди шевельнулось знакомое, уже привычное за последние недели ощущение. Он называл это «гость». Никак иначе не мог подобрать слова. Не боль, нет. Боль — это острое, понятное. А это было именно ощущение *присутствия*. Как будто в груди, в том месте, где у людей обычно бьётся сердце, поселилось что-то инородное. Тяжёлое. Холодное. Оно не мешало дышать, но напоминало о себе каждую минуту. Как заноза, которую не видно, но чувствуешь всегда.

Он перебирал в уме возможные объяснения. Сердечно-сосудистая система — обследован, здоров. Невралгия — исключено. ф — возможно, но слишком вульгарно для его случая. Он терпеть не мог, когда сложные вещи объясняли простыми словами. «Это у вас от нервов», — говорила терапевт, молодая женщина с глазами уставшей лошади. «От нервов», — повторил он тогда. — «А нервы от чего? От души?» Она не поняла. Она вообще перестала что-либо понимать, когда он начал цитировать Ясперса.

Он положил ладонь на грудь. Под рёбрами было пусто и тяжело одновременно. Как будто там, где должна быть душа, положили гладкий, отполированный камень. Камень не болит. Камень просто лежит. Но от его тяжести ноет всё тело.

— Глупости, — сказал он вслух. — Души нет. Я это знаю точно. Я слишком много видел мёртвых холстов, чтобы верить в души.

Слова повисли в воздухе, смешались с запахом пыли и времени. Ему показалось, что портрет на мольберте чуть заметно изменил выражение. Будто усмехнулся.

Он резко встал, подошёл к окну.

За окном была Москва. Ночная, чужая, равнодушная. Миллионы окон, за которыми спали люди. У каждого из них была своя жизнь. Своя боль. Своя душа, в которую они, наверное, верили. Или не верили. Какая разница.

Он смотрел на своё отражение в тёмном стекле. Мужчина за пятьдесят. Седая щетина, глубокие морщины у рта, гла-

за, которые давно разучились удивляться. Лицо, собранное по кускам из чужих выражений. Он знал, как выглядит, когда ему нужно казаться строгим. Как складывать губы, чтобы выглядеть добрым. Как держать спину, чтобы внушать уважение. Он собрал это лицо за пятьдесят лет, как реставратор собирает утраченный фрагмент живописи — по кусочкам, по воспоминаниям, по догадкам.

И только сейчас, глядя на это отражение, он вдруг отчётливо понял то, что подозревал всегда, но гнал от себя.

Он не собирал своё лицо.

Он его *выдумывал*.

С самого начала не было никакого оригинала. Не было того первого слоя, который можно было бы восстановить. Была только пустота, которую он всю жизнь заполнял чужими красками.

Он отшатнулся от окна, как от удара.

В груди тяжело и холодно заворочался «гость».

«Но если там ничего нет», — спросил он себя впервые за пятьдесят лет, — почему же эта пустота так болит?

В мастерской было тихо. Только где-то в углу едва слышно потрескивал кракелюр на старой, никому не нужной доске. Сетка трещин. След времени. След того, что всё когда-то было живым.

Он отошёл от окна, стряхивая оцепенение, как стряхивают пепел с рукава. Взял скальпель. Сел к столу. Включил лампу.

Работа лечит. Она заполняет пустоту лучше, чем любые размышления. Работа — это последовательность действий, которые не требуют души, только точности. А точность у него была отточена до совершенства. С этим ремеслом он был практически един.

Он пододвинул портрет ближе к свету.

Неизвестный в зелёном кафтане смотрел на него с холста спокойно, чуть надменно, как смотрят люди, уверенные в своём праве быть написанными для вечности. Тонкие губы, тяжёлые веки, светотень, лежащая почти по-рембрандтовски — мягко, глубоко, с ощущением внутреннего света, который идёт не снаружи, а из самой плоти.

Он взял лупу, придвинулся ближе.

Начал с фона. Там, где тёмно-зелёная драпировка переходила в почти чёрный бархат, нужно было оценить сохранность красочного слоя. Потёртости, осыпи, поздние записи — стандартный набор. Он механически отмечал про себя дефекты, мысленно составлял план работ.

Потом перешёл к лицу.

И замер.

Под лупой, при сильном боковом свете, лицо неизвестного переставало быть лицом. Оно становилось ландшафтом. Холмами и впадинами мазков. Долинами лессировок. Пигментными отложениями в трещинах.

И в этом ландшафте что-то было не так.

Он откинулся на спинку стула, протёр глаза. Поморгал.

Снова прильнул к лупе.

Контур левой скулы. Там, где у профессионального художника семнадцатого века линия должна быть твёрдой, как приговор, он увидел странную дрожь. Словно рука мастера на миг потеряла уверенность. Словно тот, кто писал этот портрет, вдруг испугался.

Он перевёл лупу на переносицу. То же самое. Мазок, положенный поверх другого мазка, чуть съехал в сторону. Там, где должна быть идеальная вертикаль, пряталась едва заметная, почти невидимая глазу кривизна.

Он достал свой рабочий дневник, раскрыл на чистой странице. Записал: *«Аномалии в моделировке лица. Возможно, авторские правки»*.

Но сам себе не поверил.

Авторские правки выглядят иначе. Это обычно уверенные, смелые движения — художник понял, что ошибся, и исправил, наложив новый слой. А здесь была не правка. Здесь была неуверенность. Дрожь. Словно человек, писавший этот портрет, вдруг усомнился в том, что он вообще имеет право это делать.

Он вернулся к глазам.

Правый глаз — идеален. Живой, влажный, с точечным бликом, который держит форму уже триста лет. А левый...

Он долго вглядывался в левый глаз. Там, в самом уголке, у переносицы, пряталась крошечная, микроскопическая асимметрия. Веко чуть-чуть, на волос, опущено ниже, чем

должно быть. Зрачок смещён к краю. Если смотреть на портрет целиком, этого не видно. Но под лупой это бросалось в глаза, как крик.

Он отложил лупу и отодвинулся от стола.

— Ты живой, — сказал он портрету почти с испугом.

Потому что живые люди асимметричны. Живые люди несовершенны. Живые люди дрожат, ошибаются, боятся. Только мёртвые — только те, кого причесали и пригладили для вечности, — только они обладают идеальной геометрией.

А этот портрет, написанный триста лет назад, был живым.

Он вдруг отчётливо представил себе того, кто это писал. Художник. Молодой? Старый? Голландия, семнадцатый век, мастерская Рембрандта или рядом с ней. Он пишет заказчика — важного господина в зелёном кафтане. Господин сидит с каменным лицом, требует, чтобы его изобразили достойно, как положено. А художник... что делает художник?

Художник смотрит на него и видит не господина, а человека. И этот человек ему не нравится. Или нравится слишком сильно. Или пугает. Или вызывает жалость. И рука невольно дрожит, выдавая правду. Вместо идеального вельможи проступает живой человек — с кривым ртом, с опущенным веком, с испугом в глазах.

А потом художник пугается сам. И записывает правду. Замазывает её. Делает красиво.

— Ты хотел сказать правду, — прошептал он, глядя на

портрет. — Но не сказал. Спрятал. Записал.

Как я.

Слово ударило в грудь, как камнем.

Он замер, чувствуя, как тяжёлый холодный «гость» внутри него шевельнулся, перевернулся на другой бок. Стало трудно дышать.

Вот оно.

Он всю свою жизнь смотрел на чужие картины, снимал слои, искал правду под записями, восстанавливал утраченное. Он стал гением в этом деле. Он научился видеть сквозь время, сквозь краску, сквозь ложь.

Но себя он так и не увидел.

А сейчас, глядя на дрожащую линию скулы неизвестного в зелёном кафтане, он вдруг понял, что смотрит в зеркало. Не лицом — нет. Рукой. Рукой художника, который испугался своей правды и спрятал её под слоем приличной краски.

— Ты такой же, как я, — сказал он портрету.

Портрет молчал. Но левый глаз, тот самый, с асимметричным веком, смотрел на него в упор. И в этом взгляде не было ни надменности, ни спокойствия. В этом взгляде было что-то другое. То, что он не мог назвать.

Он потянулся к скальпелю и пальцы задрожали.

— Я сниму тебя, — сказал он. — Я сниму этот слой. Я посмотрю, что ты там спрятал.

Он наклонился к холсту, приставил скальпель к самому краю левого глаза, туда, где пряталась асимметрия. И вдруг

замер.

А если там ничего нет?

Если он снимет слой, а под ним — не крик, не правда, не живой человек, а просто ещё один слой краски? Или пустота? Такая же пустота, как у него в груди?

Рука не двигалась.

Скальпель блестел в свете лампы, остро отточенный, готовый резать.

— Ну же, — сказал он себе. — Ты реставратор. Ты это умеешь. Сними. Посмотри.

Но он знал, что не сможет. Не сейчас. Не сегодня. Потому что, снимая этот слой, он будет снимать слой с самого себя. А он не был готов увидеть, что там, под его собственной кожей.

Он отложил скальпель. Взял карандаш.

И начал писать в рабочий журнал: *«Портрет неизвестного в зелёном кафтане. Состояние красочного слоя удовлетворительное. Предположительно — круг Рембрандта. Требуется...»*

Он остановился. Что требуется?

Что требуется человеку, который всю жизнь прятал своё лицо и вдруг увидел себя в чужом холсте?

Он дописал: *«...дальнейшее изучение»*.

Закрыв журнал. Погасил лампу. Встал.

В мастерской было темно и тихо. Только портрет белел на мольберте, чуть подсвеченный уличным фонарём из окна. Левый глаз неизвестного теперь, в темноте, казался со-

вершенно нормальным. Идеальным. Мёртвым.

Он вышел из мастерской, прикрыл дверь.

И долго стоял в коридоре, прислонившись лбом к холодной стене, пытаясь унять дрожь в руках.

II

Он не помнил, как добрался до кровати.

Помнил только, что в коридоре было темно, что стена под лбом была холодной, а потом вдруг стала тёплой и исчезла совсем, и он провалился куда-то, где нет ни стен, ни пола, ни времени.

Сон пришёл не сразу. Сначала была серая муть, сквозь которую проступали обрывки мыслей — левый глаз портрета, скальпель, отражение в окне, пустота под рёбрами. Всё это мешалось, кружилось, складывалось в бессмысленные узоры и снова распадалось.

А потом муть рассеялась, и он увидел двор.

Двор был старым, московским, из детства. Пятиэтажки с облупившейся штукатуркой, качели на цепях, песочница, в которой никто не играл, потому что песок был серым и пахло от него кошками. В углу двора стояли гаражи — ржавые, покосившиеся, с надписями, которых он тогда ещё не понимал.

Было лето. Жара стояла такая, что асфальт мягко пружинил под ногами, и в воздухе пахло бензином и укропом — странная смесь, которая потом всю жизнь будет вызывать у него сосущую тоску без названия.

Ему было, наверное, лет одиннадцать. Или двенадцать. Тот возраст, когда тело уже не детское, но ум ещё не взрослый, и ты висишь между мирами, не принадлежа ни одному.

Он сидел на скамейке, в тени тополя, и смотрел, как другие мальчишки гоняют мяч. Мяч был чёрно-белый, в пятнах грязи, и они пинали его с криками, злыми и радостными одновременно. Ему хотелось к ним. Очень хотелось. Но он знал, что не пойдёт.

Не пойдёт, потому что стоило ему подойти, как всё менялось.

Они замолкали. Смотрели на него как-то странно. Не враждебно — хуже. С недоумением. Как на вещь, которую не могут определить. И кто-нибудь обязательно говорил: «Чё ты смотришь? Иди отсюда».

Он не понимал — почему. Он делал всё так же, как они. Так же одевался. Так же стригся. Так же пробовал материться, хотя выходило неубедительно. Но между ним и ними всегда оставалась невидимая стена, которую он не мог ни пробить, ни обойти.

Блаженный, — пропел кто-то за спиной.

Он обернулся.

На другой скамейке сидели бабки. Три старухи в одинаковых ситцевых халатах, с одинаковыми узлами седых волос. Они смотрели прямо на него, и глаза у них были светлые, выцветшие, почти прозрачные.

— Блаженненький, — повторила одна, та, что крайняя. — Юрод. Господом отмеченный.

Он сжался. Он не знал, что значит это слово, но слышал в нём что-то страшное. Что-то, что отделяло его от других

навсегда.

— Не слушай их, — сказал вдруг кто-то рядом.

Он повернул голову.

На скамейке, рядом с ним, сидел мальчик. Такой же, как он сам, примерно того же возраста, в такой же клетчатой рубашке. Только лица у мальчика не было.

Совсем.

Гладкая кожа там, где должны быть глаза, нос, рот. Как яйцо. Как чистый холст.

— Кто ты? — спросил он, и голос прозвучал тонко, по-детски.

— Я — ты, — ответил мальчик без лица. — Тот, кого ты прячешь.

Он хотел закричать, но не смог. Хотел вскочить и убежать, но тело не слушалось.

А мальчик без лица поднял руку и прикоснулся к тому месту, где у нормальных людей бывают губы. И там, под пальцами, начала проступать кожа — неровная, бугристая, странная. И под ней что-то шевелилось.

— Вот оно, — сказал мальчик. — Твоё лицо. Смотри.

И вдруг двор исчез. Исчезли бабки, исчезли гаражи, исчез тополь, под которым он сидел. Остался только мальчик без лица, и мальчик этот подносил к его глазам зеркало.

Зеркало было разбитое, старое, в тяжёлой чугунной раме, из тех, что висят в музеях. И в этом зеркале он увидел себя. Там, в глубине мутного стекла, отражался не он. Вернее,

он, но другой. Тот, кого он никогда не видел, но всегда чувствовал внутри. Лицо было его — и не его. Те же глаза, тот же нос, те же губы. Но всё это было смещено, перекошено, искажено какой-то внутренней судорогой. Как будто душу, которую никто никогда не видел, вдруг вывернули наружу и приклеили к лицу.

Это было не уродство в обычном смысле. Это было что-то другое. Что-то, от чего хотелось одновременно плакать и смеяться. Что-то святое и страшное одновременно.

Юродство.

— Видишь? — спросил мальчик без лица.

— Вижу, — прошептал он.

— И что ты будешь с этим делать?

Он смотрел на своё отражение в разбитом зеркале, и внутри у него всё холодело. Потому что он вдруг понял: с этим нельзя жить. С этим лицом его никогда не примут. Никогда не полюбят. Никогда не пустят в тот чёрно-белый мяч, в те крики, в ту жизнь, которой живут нормальные люди.

— Я спрячу это, — сказал он. — Я не буду показывать.

— Как? — спросил мальчик.

— Я надену другое лицо.

— А оно у тебя есть?

— Я сделаю. Буду каждый день делать новое. Сколько надо.

Мальчик без лица помолчал. Потом наклонил свою гладкую голову, и в том месте, где должны быть глаза, вдруг

вспыхнули две маленькие точки света.

— А если забудешь, какое у тебя настоящее? — спросил он.

— Значит, нечего будет забывать, — ответил он. — Значит, его и не было.

Он протянул руку к зеркалу, туда, где кривилось в судороге его истинное лицо, и провёл по стеклу. Как по холсту. Как реставратор, который собирается нанести новый слой.

И лицо в зеркале исчезло. Затянулось гладкой, равнодушной плёнкой.

А мальчик без лица встал, повернулся и пошёл прочь, растворяясь в сером летнем воздухе.

— Ты куда? — крикнул он вслед.

Мальчик обернулся. Гладкое лицо его вдруг пошло трещинами, как старая картина. Кракелюр.

«- Я буду ждать», — сказал мальчик. — не долго, лет сорок. А потом приду и спрошу: ну что, получилось?

Он проснулся оттого, что сердце колотилось где-то в горле.

В комнате было темно. За окном всё так же горели чужие окна, всё так же стояла ночная Москва. Только теперь ему казалось, что город смотрит на него в упор, тысячами глаз, и каждый глаз видит то, что он всегда прятал.

Он сел на кровати, провёл ладонью по лицу.

Кожа была мокрая от пота, горячая. Он нащупал пальцами нос, губы, глаза — всё было на месте. Всё было гладко,

обычно, прилично. Никакой судороги. Никакого юродства.

Но под кожей, глубоко, там, где кончаются мышцы и начинается что-то другое, — там что-то шевелилось. Тот самый «гость», который поселился в груди, теперь, кажется, расплзался дальше, по всему телу, заполняя пустоту, о которой он так старательно забыл.

Он посмотрел на руки. Руки реставратора. Тонкие пальцы, чистая кожа, коротко остриженные ногти. Эти руки снимали слои с сотен картин, возвращая миру утраченную правду. Эти же руки пятьдесят лет наносили слои на собственное лицо, пряча правду ото всех.

Интересно, если бы он сейчас взял скальпель и попробовал снять с себя первый слой — что бы он там увидел?

Он вспомнил портрет в зелёном кафтане, оставленный в мастерской. Вспомнил дрожащую линию скулы, асимметричный глаз, ту самую живую, неправильную деталь, которая выдавала художника.

— Ты тоже спрятал, — прошептал он. — Ты тоже испугался.

И вдруг, в первый раз за много лет, ему захотелось вернуться в мастерскую. Не утром, не днём, а сейчас, сию минуту. Взяться за скальпель и снять этот слой. Посмотреть, что там, под надменной маской неизвестного в зелёном кафтане.

Может быть, тогда он поймёт, что делать со своим собственным лицом.

Он встал, накинул халат, вышел в коридор.

Дверь в мастерскую была приоткрыта. Он точно помнил, что закрывал её. Всегда закрывал. Привычка, доведённая до автоматизма.

Он толкнул дверь.

В мастерской горел свет.

Тот самый, зелёный, от лампы на рабочем столе. И перед мольбертом, спиной к нему, стояла фигура.

Маленькая. Худенькая. В клетчатой рубашке.

Он проснулся от того, что затекла шея.

Голова лежала на сложенных руках, локти упирались в подоконник. За окном уже светало — небо на востоке наливалось бледно-жёлтым, предвещая утро. Он сидел на полу в коридоре, прислонившись спиной к стене, и только сейчас понял, что так и не дошёл до кровати после того, как вышел из мастерской.

Или дошёл? Или это был сон?

Он потёр лицо ладонями. Кожа была сухой, горячей. Пальцы пахли пылью и ацетоном — запах, который не выветривался никогда, даже после душа. Он поднялся, с трудом разгибая затёкшие колени, и заставил себя пройти на кухню.

Кофе. Нужен кофе. Самый крепкий, чёрный, без сахара. Ритуал, который возвращает к жизни уже тридцать лет.

Пока вода закипала, он стоял у окна и смотрел, как просыпается город. Редкие машины, дворник с метлой, женщина с собакой — обычное утро обычного человека. Если бы

кто-то увидел его сейчас, в мятом халате, с опухшим лицом, вряд ли бы подумал, что этот человек только что пережил встречу с собой сорокалетней давности.

Кофе был готов. Он взял кружку, обжёг губы, сделал глоток. Горечь прокатилась по языку, спустилась в пищевод, разлилась теплом в пустом желудке. Хорошо.

Итак, сон.

Он попытался разобрать его по кускам, как разбирает рассыпавшийся холст. Двор — был. Бабки — были. Мальчик без лица — был. Зеркало — было. Разговор — был. Но чем больше он думал, тем яснее понимал: сон этот приходил к нему и раньше. Много раз. Просто он никогда не позволял себе запоминать его. Просыпался — и выкидывал из головы, забивал работой, делами, привычной суетой.

А сегодня не выкинул. Сегодня мальчик без лица догнал его.

«Я буду ждать», — сказал тот во сне.

Сорок лет. Ему пятьдесят один. Значит, ждал.

Он допил кофе, поставил кружку в раковину, и, сам не зная зачем, направился в мастерскую.

В мастерской было тихо и серо от утреннего полусвета. Пахло всё той же пылью, красками, временем. Портрет стоял на мольберте, как ни в чём не бывало. Неизвестный в зелёном кафтане смотрел спокойно и надменно, никакого левого глаза, никакой асимметрии — обычный мёртвый портрет, которому триста лет.

Он подошёл к окну, сел на широкий подоконник. Отсюда открывался вид на крыши, на трубы котельной, на верхушки деревьев в соседнем дворе. Он любил это место. Здесь можно было сидеть часами, ни о чём не думая, просто смотреть, как движется жизнь внизу.

Но сегодня мысли не отпускали. Юность.

Странно, он почти никогда не вспоминал юность. В его голове существовал чёткий водораздел: жизнь началась лет в двадцать пять, когда он поступил в реставрационное училище и нашёл своё дело. Всё, что было до — какая-то серая масса, не стоящая внимания.

Но сейчас, после сна, эта серая масса вдруг начала поступать, как изображение на проявленной фотоплёнке.

И он увидел, что на этой плёнке всё было... хорошо. Даже прекрасно.

Компания. Друзья. Двор, где его знали и любили. Футбол до темноты, разбитые коленки, первые сигареты, украдкой выкуренные за гаражами. Походы на озеро с палатками, костёр до утра, гитара, девчонки, которые смотрели на него с интересом, и он знал, что нравится им. Он был душой компании — не потому, что был громче всех, а потому что умел слушать, умел поддержать разговор, умел быть своим. Он смеялся их шуткам, злился на их обидчиков, мечтал с ними об одном и том же.

Так почему же сейчас, вспоминая это, он чувствует только холод и пустоту?

Почему эти воспоминания кажутся чужими, будто взятыми напрокат?

Он закрыл глаза, и перед ним всплыл тот самый день. Один день. Один миг, который он старательно задвигал в самый дальний угол памяти, но который, оказывается, всегда был там, ждал своего часа.

Лето. Им по шестнадцать. Озеро, в которое они ходили купаться каждые выходные, сегодня особенно тёплое и ласковое. Вода прозрачная до самого дна, видно каждый камешек, каждую проплывающую мимо рыбу.

Они прыгают с тарзанки — старой автомобильной покрышки, привязанной к толстому суку дуба. Очередь, смех, визг девчонок. Кто-то считает, кто брызгается, кто просто валяется на песке, подставив лицо солнцу.

Он стоит на берегу, только что вылез из воды, и смотрит на эту картину.

Солнце светит так ярко, что всё вокруг кажется ненастоящим, выцветшим, как старая фотография. Друзья — вот Витька, вот Серёга, вот Ленка, в которую он влюблён уже полгода, — они смеются, брызгаются, живут. А он стоит в двух шагах от них, но чувствует себя так, будто отделён толстым, пуленепробиваемым стеклом.

Он видит их лица, слышит их голоса, но не чувствует ничего. Ни радости, ни желания присоединиться. Только странное, ледяное спокойствие, как у оператора, который снимает кино.

«Может я не такой, как они», — приходит мысль, холодная и ясная.

Он пробует её на вкус. Не такой. Но почему? Он делает всё то же самое. Он прыгает с тарзанки — и смеётся, когда выныривает. Он хлопает Витьку по плечу, когда тот рассказывает анекдот. Он смотрит на Ленку и старается, чтобы взгляд был тёплым, влюблённым.

Но внутри — пустота. Или не пустота, а что-то другое. Что-то, что наблюдает за ним самим, за его жестами, за его улыбкой, и оценивает: «Неплохо. Так и надо. Они верят».

В тот момент, стоя на берегу, он впервые отчётливо понял: то, что другие чувствуют естественно, он должен играть. Его радость — не его. Его влюблённость — не его. Его дружба — не его. Всё это — маски, которые он надевает, чтобы быть как все.

Но если снять все маски, что останется?

Он тогда испугался этого вопроса. Так испугался, что запретил себе даже думать о нём. Вместо этого он шагнул в воду, поплыл к тарзанке, залез на крышу, крикнул что-то весёлое и прыгнул вниз, рассекая воду телом, которое слушалось, улыбалось, жило — но было чужим.

С этого дня, он понял теперь, и началась его настоящая жизнь. Жизнь лицедея. Он не просто играл роли — он стал ими. Каждый день новая маска, и ни одна не была его собственной. Он так хорошо научился этому, что сам поверил: масок нет, есть только он, настоящий, тот самый весёлый па-

рень с озера.

А мальчик без лица, которого он спрятал тогда в себе, остался ждать. Сорок лет.

Он открыл глаза.

В мастерской уже стало совсем светло. Солнечный луч упал на портрет, осветив пылинки, танцующие в воздухе. Неизвестный в зелёном кафтане смотрел на него теперь иначе — не надменно, а вопросительно. Как будто тоже ждал ответа.

Он слез с подоконника, подошёл к мольберту. Взял в руки скальпель. Тот самый, тонкий, почти невесомый.

Левый глаз портрета. То самое место, где ему померещилась асимметрия. При дневном свете её не было видно. Или была? Чуть-чуть? Или просто блик?

— Я должен узнать, — сказал он вслух. — Я должен снять этот слой.

Рука с зажатым скальпелем приблизилась к холсту.

И замерла в сантиметре от поверхности.

Потому что в тишине мастерской вдруг отчётливо прозвучал голос. Тонкий, детский, насмешливый:

— Ну что, получилось?

Скальпель дрогнул в руке, едва не коснувшись холста.

Он отдёрнул руку, отшатнулся от портрета, врезался спиной в стеллаж с книгами. Тома посыпались на пол, гулко ударяясь о паркет. Сердце колотилось где-то в горле, мешая дышать.

Тишина.

Никакого голоса. Только гул города за окном, только шорох шин по мокрому асфальту — ночью, кажется, прошёл дождь, а он и не заметил.

Он стоял, прижавшись к стеллажу, и смотрел на пустую мастерскую. Никого. Только портрет, только инструменты, только утренний свет, безжалостно высвечивающий пыль на всех поверхностях.

— Играет, — сказал он вслух. Голос прозвучал хрипло, но твёрдо. — Нервы играют. Психосоматика. Вчерашний разговор с терапевтом был не зря.

Он заставил себя рассмеяться. Коротко, сухо, как кашлянул.

— Мальчик из сна. Очень умно. Дождался пятидесяти лет и явился. Только вот...

Он не договорил. Потому что не знал, что делать с этим «только вот».

Скальпель валялся на полу, у ног. Он поднял его, аккуратно положил на стол, рядом с увеличительным стеклом. Руки дрожали мелкой противной дрожью. Надо поесть. Надо выпить ещё кофе. Надо сделать что-то нормальное, человеческое, что выдернет его из этого состояния.

Он повернулся к двери, сделал шаг...

И в кармане халата зазвонил телефон.

Звук был такой неожиданный, такой резкий в этой мёртвой тишине, что он вздрогнул, будто его ударили. Телефон

орал бодрую, дурацкую мелодию, поставленную по умолчанию и ни разу им не менявшуюся за пять лет. Механический голос робота: «Входящий вызов, входящий вызов».

Он вытащил телефон, глянул на экран. Высветилось имя: **Андрей.**

Андрей. Друг. Точнее, человек, которого он называл другом последние двадцать пять лет. Андрей звонил раз в неделю, по пятницам, ровно в десять утра. Они встречались раз в месяц, пили пиво в баре на Патриарших, обсуждали политику, работу, здоровье. Андрей был хорошим человеком. Андрей ничего не знал о нём.

Он смотрел на экран и чувствовал, как лицо само собой собирается в нужное выражение. Уголки губ чуть приподнялись, брови расслабились, глаза приняли тёплое, заинтересованное выражение. Маска «друга, который рад слышать» наделась автоматически, быстрее, чем он успел подумать.

— Привет, старик, — сказал он в трубку голосом, в котором не осталось ни следа от ночного ужаса. Голосом, которым говорят люди, у которых всё в порядке.

— Привет, — отозвался Андрей. Голос у него был громкий, басовитый, с лёгкой хрипотцой — голос человека, который двадцать лет курит «Кэмел» и гордится этим. — Не разбудил?

— Я на ногах с шести.

— Врёшь. Ты вообще спишь когда-нибудь? С твоей работой только и делать, что не спать.

Он улыбнулся в трубку. Андрей всегда так говорил. Андрей всегда говорил одно и то же. Это было удобно.

— Работа есть работа, — сказал он привычную фразу. — Как сам?

— Да нормально. Слушай, я чего звоню. В субботу шашлыки на даче, свои будут, ты, Ленка с Серёгой, ну и там ещё пара человек. Погода обещают отличную. Ты как?

Свои. Ленка с Серёгой. Те самые, с которыми они когда-то, тридцать пять лет назад, прыгали с тарзанки на озере. Ленка теперь замужем за Серёгой, двое детей, ипотека, дача в том же районе, где у Андрея. Они виделись раз в полгода, пили, ели, вспоминали молодость, и он каждый раз поражался, как легко он играет эту роль — «старого друга», который помнит, как они воровали яблоки в соседском саду.

Он помнил. Он помнил каждую деталь. Но эти воспоминания были как чужие фотографии, которые он рассматривал с любопытством, но без тепла.

— В субботу? — переспросил он, делая вид, что проверяет расписание. На самом деле расписания не было. Ничего не было, кроме портрета и мальчика без лица. — Давай. Во сколько?

— Часам к двенадцати подъезжай. Мясо моё, твоя задача — быть и улыбаться. Жена говорит, ты совсем закис в своей мастерской, людей не видишь.

— Передай жене, что я её люблю, — сказал он с той самой интонацией, которая означала: «это шутка, но в каждой

шутке...»

— Сам передашь, — засмеялся Андрей. — Ладно, бывай. До субботы.

— До субботы.

Он нажал отбой.

Телефон погас, экран почернел. В этом чёрном зеркальце он увидел своё отражение — то самое, собранное для разговора. Тёплые глаза, расслабленные губы, лёгкая улыбка. Маска сидела идеально.

Он смотрел на неё несколько секунд, а потом медленно, сознательным усилием, расслабил лицо. Губы сжались, глаза потухли, брови сошлись к переносице. Маска сползла.

Под ней было пусто. Усталое, серое лицо человека, который только что разговаривал с другом и не чувствовал ничего.

Он сунул телефон обратно в карман и сел на подоконник.

Суббота. Шашлыки. Друзья. Люди, которые знают его двадцать, тридцать, тридцать пять лет. Люди, которые ни разу не видели его настоящего. Которые даже не подозревают, что его можно не видеть, потому что его, настоящего, просто нет.

Или есть? Тот мальчик без лица из сна — он же откуда-то взялся. Он не мог взяться из пустоты.

— Интересно, — сказал он вслух, глядя на портрет, — если бы ты мог говорить, что бы ты сказал про друзей? Ты же триста лет висишь где-то, смотришь на людей. Они к те-

бе приходят, смотрят, уходят. Ты знаешь, кто из них настоящий, а кто — маска?

Портрет молчал. Неизвестный в зелёном кафтане смотрел спокойно и надменно, как смотрят те, кто уже всё понял и никому не скажет.

Он усмехнулся.

— Ладно. Будем считать, что это был просто сон. А голос — просто нервы. Кофе, завтрак, работа. И к чёрту экзистенциальные вопросы.

Он слез с подоконника, одёрнул халат, поправил воротник. И вдруг остановился, глядя на свои руки.

Руки дрожали. Всё ещё. Мелко, противно, непрерывно.

— Нервы, — повторил он. — Просто нервы.

Но, выходя из мастерской, он оглянулся на портрет. И ему показалось, или левый глаз неизвестного действительно чуть заметно прищурился, провожая его взглядом?

Он быстро закрыл дверь и прислонился к ней спиной, чувствуя, как колотится сердце.

В прихожей, на тумбочке, лежал ежедневник. Он открыл его на сегодняшней дате и написал крупными буквами:

СУББОТА — ШАШЛЫКИ. АНДРЕЙ. ЛЕНКА. СЕРЁГА.

Потом захлопнул ежедневник и пошёл на кухню — варить новое кофе, делать бутерброды, жить обычной жизнью обычного человека, который только что разговаривал с другом и договорился о встрече на выходные.

III

День прошёл по расписанию.

Он любил расписания. Любил, когда каждая минута знает своё место, когда хаос внешнего мира разбит на аккуратные клеточки ежедневника, когда не нужно думать — нужно просто выполнять. Сорок лет выучки. Сорок лет дрессировки.

8:45 — Душ.

Он стоял под горячей водой ровно семь минут. Ни секундой больше. Мыл голову шампунем без запаха, тер тело мочалкой с той же механической тщательностью, с какой считал поздние записи с холстов. Вода смывала пот, остатки сна, воспоминания о мальчике без лица. Вода не смывала только одно — тяжесть под рёбрами. «Гость» никуда не делся. Он просто притих, притаился, ждал.

8:52 — Завтрак.

Овсяная каша на воде. Чёрный кофе без сахара. Один бутерброд с сыром. Всё на одной и той же тарелке, всё в одном и том же порядке. Он жевал, глядя в окно на серое московское небо, и думал о том, что еда давно перестала иметь вкус. Лет двадцать назад. Может, больше. Он не помнил, когда в последний раз чувствовал голод как желание, а не как необходимость.

9:15 — Выход из дома.

Он проверил, закрыта ли дверь в мастерскую. Закрыта. Проверил ещё раз. Закрыта. Третий раз проверять не стал — заставил себя уйти, хотя рука так и тянулась к ручке.

Лифт пах чужими людьми, чужими жизнями. Он стоял в углу, глядя на своё отражение в зеркальной двери. Мужчина в сером пальто, с портфелем, с лицом человека, у которого всё в порядке. Никто не дал бы ему пятидесяти одного — выглядел он на сорок пять, не больше. Хорошая генетика, никаких вредных привычек, никаких лишних эмоций. Эмоции старят. Он это знал точно.

На первом этаже, в холле, сидела консьержка — тётя Зина, пенсионерка с золотыми зубами и неутолимой жадой общения.

— С добрым утром, Иван Петрович! — пропела она, едва он вышел из лифта. — А погодка-то сегодня, а? Опять дождь собирается. Вы зонтик взяли?

— Доброе утро, Зинаида Лаврентьевна, — ответил он, останавливаясь ровно настолько, чтобы не показаться грубым. — Не взял. Не думаю, что дождь будет.

— Ой, молодёжь, — засмеялась она. — Всё вы не думаете. А я вам говорю — будет. У меня коленки ноют с утра. Как коленки ноют — так дождь, стопроцентно.

Он улыбнулся. Улыбка вышла автоматической, тёплой, ровно такой, какой должна быть у воспитанного человека в разговоре с пожилой женщиной.

— Приму к сведению, — сказал он. — Хорошего дня.

— И вам, и вам! Заходите, чайку попьём!

Он вышел на улицу и вдохнул сырой, тяжёлый воздух. Коленки тёти Зины не врали — небо наливалось свинцом, где-то далеко погромыхивало.

Чайку попьём. Зачем? Зачем пить чай с женщиной, которую он видит каждый день уже семь лет, но ничего о ней не знает, кроме того, что у неё ноют колени и золотые зубы?

Он отогнал вопрос. Вопросы опасны. Вопросы ведут к другим вопросам.

9:30 — Метро.

Час пик уже схлынул, но народу всё равно было много. Он стоял на платформе, глядя в туннель, откуда вот-вот должен был вылететь поезд. Люди вокруг — молодые, старые, с сумками, с детьми, с телефонами, с пустыми глазами. Все куда-то ехали, все были заняты собой.

Интересно, думал он, сколько из них тоже носят маски? Сколько из этих лиц — настоящие? Может, он не один такой? Может, весь вагон, весь поезд, вся Москва — это просто скопище масок, которые притворяются людьми?

Он посмотрел на женщину, напротив. Лет сорока, уставшая, с мешками под глазами, в дешёвом пальто. Она смотрела в пол и жевала губами, будто пережёвывала какую-то давнюю обиду. Вот она — точно не играет. Она слишком устала для игр.

Или это её маска — «уставшая женщина»? Может, дома она превращается в кого-то другого?

Поезд пришёл, открыл двери, проглотил людей, поехал дальше.

10:15 — Реставрационная мастерская при музее.

Он работал здесь три дня в неделю. Остальное время — дома, на фрилансе, с частными заказами. Здесь у него был свой угол — небольшая комната на втором этаже старого особняка, с высокими окнами и идеальным северным светом.

Коллеги его уважали. Директор музея, пожилая женщина с глазами ящерицы, ценила его за точность и отсутствие амбиций. Молодые реставраторы, которые вечно что-то доказывали друг другу, считали его монстром, но молчали — он действительно был лучшим.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.